

Н. И. Костомаров

**М. П. Погодину \*.**

**Ответ на замечание его на мою статью  
«Куликовская битва», напечатанное в № 4 «Дня»,  
1864**

С чего это Вы, многоуважаемый Михаил Петрович, вздумали писать, будто я не люблю Москвы? Уверю Вас, что я люблю вашу Москву и признаю за нею звание *собираательницы земель русских и основательницы государства*. Я не могу не признать этого, потому что это — совершившийся факт. Но если что мне действительно антипатично, так это тот патриотизм, который может, не краснея, говорить о себе:

Тьмы низких истин мне дороже  
Нас возвышающий обман.

Вы же сами после этих стихов сознаетесь, что историк не может так говорить. Не только историк, но всякий честный человек должен гнушаться такими понятиями. Для чего же Вы привели эти пошлые стишонки?

Если смотреть на сумму вековых событий с их последствиями, в связи предыдущего с последующим, в цельности явлений, уже законченных, то возникает образ, где мелочи стираются и остаются *общие, крупные черты*. События, которые прямо приводили к последним строкам истории, окрашиваются таким блеском, который располагает ими любоваться. Но такое созерцание законно только тогда, когда оно явилось вследствие научного анализа: в анализе вся суть знания и путь к правильному уразумению. Но, как только Вы приступите к анализу, тотчас натолкнетесь на множество черных сторон, ошибок, слабостей — на все то, что неизбежно составляло достояние человеческого несовершенства, и если бы приступили к анализу с патриотизмом, то последний будет сильно мешать Вам.

Патриотизм в науке истории — большой недостаток. Вы, напротив, кажется, так за него держитесь, что готовы, в самом деле, пожертвовать для него строгостью истины. Вы признаете в истории существование таких *дорогих лиц*, о которых *следует говорить если не с благоговением, то с большою осторожностью*; Вы требуете с уважением относиться к народным верованиям: о последних Вы говорите, что их не следует колебать без сильных причин и доказательств. Не понимаю, что Вы разумеете под словом «причины», ибо в исторической науке всякому подобному шагу одна причина: стремление к истине. Что же касается до доказательств, то без них не следует ничего ни колебать, ни укреплять. Это правда. Но откровенно Вам сознаюсь, что у меня нет таких дорогих сердцу лиц, с которыми я должен обращаться с большей осторожностью, чем с другими. Я думаю, что вовсе не обязан в суждениях о Димитрии Донском наблюдать более осторожность, чем в суждениях о Ягейло или Мамае, а одинаково пользоваться для первого, так и для второго тем, что дают мне источники и собственная способность понимать смысл источников. Дело историка не курить фимиам пред народными кумирами, а разбивать их. Народные предания — предмет первой важности; но я смотрю на них, как на факты, подлежащие анализу и суждению, а не как на святыню, до которой прикоснуться нельзя.

Как бы то ни было, Вас огорчило то, что из моего рассказа о Куликовской битве Димитрий Донской показался там трусом. Я не на-

\* Голос, 1864, № 32, 1 февраля; підп.: Н. Костомаров. Стаття «Куликовская битва» ввійшла до 3 т. «Монографій» М. Костомарова.

звал его таким именем, а сказал только, что он не отличался пылкой отвагой. Вам бы хотелось, чтобы он был богатырь, герой, исполнил всевозможнейших доблестей. Что же? И мне того же хотелось бы. Да нечего делать, когда он не таков был! Вы преусердно собрали свидетельства о его участии в войнах; но из всего этого о личной его храбрости ничего вывести нельзя. Что, например, из того, что он послал 1377 г. войско на помощь своему тестю? Почему же Вы, многоуважаемый Михаил Петрович, не привели нам того, что делалось в Москве в августе 1382 года, когда на Москву напал Тохтамыш? Вот что говорится в летописи: «Князь же великий видя многое множество безбожных Татар, и неста противу им, но на Кострому побежа с княгиней и с детми» (Новг. Лет. 93). Вы мне ставили в преступление слово «бежал», сказанное о Дмитрии, и вот в летописи: «побежа». А вы так строго придерживаетесь летописей! В Никоновской летописи ясно намерение оправдать Дмитрия; там говорится: «Уразумех бо в князех и боярах своих, и во всех воинствах своих разньство и распрю, еще же и оскудение воинства; оскуде бо вся русская земля от Мамаева побоища за Доном и вси русти людие в велице страхе и трепете быша за оскудение людей» (IV. 132). Что же сделал великий князь в таких затруднительных обстоятельствах? Силу распустил (Ibid.). Как же это? Оскудение воинства, а было что распускать? Почему же с этой силой он не бился? Мало ее было? Нет. Далее та же летопись рассказывает, что когда великий князь Дмитрий находился в Костроме с немногими (не во мнозе), в Москве защищался литовский князь Остей *со множеством народа*. Зачем же Ваш храбрый Дмитрий не разделял опасностей с этим *множеством* народа? Зачем не погиб на развалинах Москвы? А так ли бы поступил он, если б отличался пылкой отвагой? Карамзин беспристрастнее Вас: он не затруднился приписать бегство Дмитрия потере бодрости духа (V. 78).

Вот это-то событие, где так ясно высказывается характер Дмитрия, в особенности подало мне повод понимать черты Куликовской битвы таким способом, как Вам не нравится.

Вы меня обвиняете за выражения: *запрятался, улегся, чуть не без чувств*. Но в тексте летописи, Вами же приведенном, стоит: *скрыв себе*. Разве это не то же, что запрятался? Дмитрий найден был под недавно срубленным деревом и лежал так, что был покрыт его ветвями. Под срубленное дерево нельзя упасть: можно только залезть туда, улечься там. Слову «без чувств» соответствует слово *одваляющий* в летописи; но оно делается тождественным ему по смыслу, когда мы примем во внимание обстоятельства, при которых нашли Дмитрия. «Под новосеченным древом, под ветвья лежаше аки мертв» (Ник. Лет. IV, 118). С трудом привели его в себя, а между тем «смертные раны на телеси его не обретеса, только доспех на нем был избит». Как же это объяснить: человек не раненый, преследуемый неприятелем, направил шаги свои к лесу, очутился под ветвями срубленного дерева, и когда его нашли — он был в беспамятстве? Конечно, этот человек сильно дорожил жизнью и не пренебрегал мерами для избежания опасности. Поверьте, Михаил Петрович, Вы бы сами иначе и не сказали, если б этот человек не был Дмитрий Донской, и правда, сказанная о нем, не оскорбляла бы тех предрассудков, которыми нас всех напичкали с детства.

В доказательство храбрости Дмитрия Вы приводите его собственные слова об охоте биться с татарами! Да мало ли что можно говорить? Этак и Фальстаф будет храбрецом! Точно так же нельзя опираться на риторiku летописей, когда в тех же летописях есть факты, противоречащие риторике. Черная вещь не станет белой оттого, что тот, кто передает ее во всей черноте, уверяет, что она бела.

Переряживание на поле битвы я объяснял желанием избежать большей опасности, неразлучной с положением великого князя, осо-

бенно под великокняжеским знаменем, которое издали виднелось и привлекало удары врагов. Я сказал: иной причины быть не могло. Вы говорите: нет, могло, объясняете это почти так же, как я. Вы говорите, что Димитрий не мог биться в великокняжеском одеянии, не подвергая себя даром лишней опасности. В этом вся и суть. И я признаю все эти поступки Димитрия плодом желания «не подвергать себя лишней опасности». Вы задаете вопрос: где и кому больше опасности — воину, бьющемуся в первых рядах, или военачальнику? Конечно, военачальнику, отвечу я вам. Лучше меня ответят вам факты: Димитрий в платье простого воина остался жив и невредим, а Бренок в княжеской приволоке — убит; да вдобавок: вспомните, как много князей пало тогда! Видно, враги особенно хотели убивать князей! И оно естественно: со смертью князей, командовавших войсками, расстраивался порядок. Вы указываете на то, что Димитрий изъявил желание биться. Что же? Изъявил, а потом, когда пришло к делу, чувство самосохранения загнало его в лес, под срубленное дерево, как то же чувство через два года загнало его в Кострому... Мне кажется, что Димитрий для того и вызвался сражаться в одежде простого воина, чтобы незаметно уйти в лес и избавиться от опасности. Во всяком случае, вы несправедливо обвиняете меня, будто я сердит на Димитрия за то, что он возвысил Москву. Я не могу так ребячески обращаться с историей, чтобы *сердиться* на исторические лица. Кажется, что, по крайней мере, при описании таких отдаленных событий, как Куликовская битва, авторы должны быть изъяты от подозрений в неблагонамеренности своих взглядов... Иначе невозможно заниматься историей.

Не понимаю, к чему Вы привели тираду о молитве. Что Димитрий молился, я ему не ставлю этого в вину. Согласен с вами, что молиться перед начатием всякого дела очень похвально, и никогда в этом не сомневался.

Вы негодуете на меня за то, что я изобразил Сергия советующим почтить Мамая дарами, и будто бы пропустил пророчество Сергия о победе, сказанное им пред трапезою. Действительно, в летописи прежде известия о трапезовании есть известие о пророчестве, но вслед за тем говорится, что по восстании от трапезы Сергей сказал: *почти дары и честию нечестивого Мамая* (стр. 99). Как же это Св. Сергей сначала пророчит победу, а потом советует откупиться от врага? Дело это легко распутывается. Пророчество было сказано после (стр. 100), а здесь риторическое повторение того же в иных словах: летописец хочет сказать только, что Сергей предрек Димитрию победу, но не говорит, что это было пред трапезою, а вообще сообщает об этом, не указывая времени и обстоятельства этого пророчения, а ниже объясняет, как и когда Сергей произнес его. Сообразно этому я видел тут один факт, о котором дважды сказано, и упомянул о нем только однажды, полагая его происшедшим после трапезы, а не перед трапезою, на том основании, что св. Сергей только по окончании трапезы советовал Димитрию посылать дары Мамаю и только тогда узнал от него, что эта мера была уже испытана.

Что наше православное духовенство уклонялось от благословения восстаний, хотя бы и против татар, вам служат доказательством многократные поездки наших митрополитов в Орду и вообще добрые отношения с кипчакским двором митрополитов Петра и Алексия. Притом же, согласно с кротостью, оно щадило кровь христианскую и с большою осторожностью решалось благословлять ее пролитие в самом крайнем случае, именно когда угрожала опасность вере и, следовательно, делу спасения паствы. Вы приводите примеры знаменитых духовных смутного времени. Но тогда было не восстание против признанной власти, а защита отечества против иноземного вторжения, и притом была очевидная опасность православию, ибо духовные наши видели ясно, что интрига поляков ведется с намерением ввести католичество в Мос-

ковском государстве. Вассиан подвигал войска против Ахмата в те времена, когда уже Москва значительно возвысилась, а Орда упала, и все-таки оправдывая Иоанна тем, что он употребил все мирские средства покорности. Сам Вассиан, по своему характеру, представляет исключение, ибо он сам вызывался предводительствовать войском против татар, чего не говорит ни один архиерей. Сергей, совершенно согласно духу православия, только тогда благословил великого князя Дмитрия, когда узнал, что покорность его не была принята; следовательно, допускал восстание русской земли в самом крайнем случае. Что касается до беседы Дмитрия с Киприяном, то я прежде вас заметил, что это известие, может быть, и выдуманно, а придавал ему важное значение потому, что это образчик духовной философии, сходный со многими проявлениями деятельности духовенства в православной церкви.

Не понимаю, что вас соблазняет расчет, который я приписываю Олегу? Вы говорите: расчет плохой. И я тоже повторю и прибавлю: плох, конечно, ибо не состоялся! Спорить нам тут не из чего.

Вы пишете:

«У г. Костомарова есть благоприятные выражения для всех, кроме только Москвы. Вот как он отзывался о Литве:

«...Московский великий князь распространял Московское государство и уже посягал на то, что успело прежде захватить себе государство «Литовское».

По поводу этих слов Вы восклицаете:

«Посягал! Посягают на чужое, а отнять свое, русское, что захвачено, по собственному выражению, хотя бы и государством Литовским, на это есть право. Не посягаем ли мы теперь на Западную Русь и Малороссию?»

В XIV веке Москва и Литва были в подобном между собой положении по отношению к прочим русским землям. Удельновечевой строй не удовлетворял уже исторической жизни. Возникло разом два центра собирания русских земель: Москва и Литва; и та, и другая хотели присоединить их к своей державе; и та, и другая должны были встречать сопротивление в элементах старой жизни. Хотя Москва и была русская земля, но земля Суздальская, Рязанская, Тверская, Новгородская, Псковская, Смоленская, Северская, будучи русскими, не принадлежали Москве: поэтому покушение на их подчинение в XIV веке никак не может назваться отнятием своего. Сравнение ваше с правами России на Западную Русь и Малороссию неудачно. Западная Русь и Малороссия в XIX веке фактически принадлежат к Российской империи, составляют части ее и признаются за нею иноземными государствами, а в XIV веке Северщина, Рязанщина, Смоленщина, Тверь, Суздальская Земля, Великий Новгород и Псков не были еще покорены Москвою и не составляли с нею одного государства, а были самостоятельными целыми, в связи с Москвою и между собою на основании единства веры, племенной национальности, княжеского рода и взаимности отношений. Поэтому слово «посягал», сказанное о великом князе московском, исторически уместно.

Вы заметили, что я затруднялся определить селение Котел, через которое Дмитрий шел из Москвы, и говорите, что Котлов много. Знаю, их много на Руси: оттого я и затруднялся.

Вот Вам мой ответ на Ваши возражения.

### М. П. Погодину \*

В ответе Вашем на мой ответ я различаю две стороны: одну чисто ученую, другую, так сказать, учено-полицейскую, относящуюся к обла-

\* Голос, 1864, № 62; подп.: Н. Костомаров.



сти учено-литературного благочиния. Я буду отвечать сперва на чисто ученые вопросы.

В конце Вашей статьи Вы упрекаете меня, будто я оставляю без внимания современные известия и стараюсь собрать всякого хвороста из всех позднейших сказок. Современными известиями Вы называете те, которые сохранились в летописях Ростовской и Синодальной. На каких основаниях Вы одно признаете ранним, другое — позднейшим? Описание Куликовского побоища в наших летописях есть отдельные сказания (пожалуй, хоть сказки), составленные в виде самобытных повестей, и уже впоследствии занесенные в летописные сборники. Таких сказаний я знаю три редакции, в разных видах и смешениях. Первая, находящаяся во многих летописных сборниках и напечатанная в IV т. «Полного Собрания Летописей» под заглавием: «О побоище иже на Дону и о том князь великий како бился с Ордою». Она же и в Воскресенской летописи. Вторая — поэма, изданная Срезневским в сочинении «Задонщина» и Ундольским во «Временнике императорского общества истории и древностей», № 14. Подражание «Слову о полку Игореве» в литературном отношении почти не входит в летописные сборники. Третья — заключающая в себе подробности битвы, вошедшая в Никоновский летописный сборник. Она находится во многих рукописных литературных сборниках под именем «Похвалы» в смешении со второй. В Тверской летописи она приписывается Софонию, брянскому боярину, издана в 4 томе Вашего «Русского Исторического Сборника». То, что Вы называете древнейшим описанием битвы в Ростовской летописи, есть смесь первой редакции с третьей. Нет основания думать, чтобы в таком виде описание битвы было древнейшим, тем более, что сама Ростовская летопись сохранилась в списке очень позднем, конца XVII века, позже Никоновского. Синодальная подобна ей. Если Вам хочется, чтобы Димитрий был герой, богатырь, храбрец, то последовательнее будет отвергнуть совсем третью редакцию, а также и Ростовскую летопись, и опереться на первую редакцию в том виде, в каком она сохраняется в IV т. «Полного Собрания Летописей». Между известиями о битве по первой и по третьей редакции есть ощутительная разница.

В первой нет переодевания на поле битвы и нахождения Димитрия под деревом. Великий князь остается в своем виде, сражается храбро, окруженный дружиною, выезжает вперед и дерется с татарами. Ему дали несколько ударов по доспехам. Раны не получил он. Когда ему советовали стоять в опричном месте, он отвечал: как я могу говорить вам: потягнем, братья, все за одно, когда сам лицо свое стану укрывать и хорониться назади? Летописец говорит, что он делал это для примера: *да и прочие то видевшие, примут со усердием дерзновение*. Это было как раз сообразно древним обычаям. Не раз храбрый воин показывал личный пример отваги своей дружине. Так, Святослав Игоревич Киевский, еще будучи несовершеннолетним, во время войны с древлянами первый метнул копье в неприятеля, и его воины сказали: князь уже начал; потягнем, друже, за князем! Так князь Андрей Юрьевич под Луцком *в'еха переже всех в противные и дружина его по нем ехаша*. Так во время борьбы Изяслава Мстиславовича с Юрием Долгоруким их двух противных полчищ; впереди всех открывали бой два князя: с одной стороны тот же Андрей Юрьевич *в'зя копье и еха наперед, и с'ехася переже всех*, а с другой стороны, Изяслав Мстиславович *перед всеми полкы в'еха один в полкы ратных*. Александр Невский в знаменитой своей битве на Неве со шведами ратоборствовал лично сам и *самому королю возложи печать на лице острым своим мечем*. Мстислав Удалой в битве с Суздальцами на Авдовой Горе сражался сам лично и показывал всем пример собственной отвагой... Таких примеров можно привести много. Совершенно понятно, если допустить, что Димитрий, следуя прадедовским обычаям, хо-

тел подать пример своему войску и сам выехал драться с врагами. Но ни Святослав, ни Александр Невский, ни Мстислав Удалой и никто другой из подобных им храбрецов не переряживались для этого. И какой пример мог подать Димитрий, когда, в виду всего войска, под великокняжеским знаменем, в княжеской приволоке будет стоять другое лицо, а сам великий князь будет биться в ряду простых воинов, никем незнаемый, никем незамеченный? Переодевание и желание показать пример никак не клеится между собою! Между тем, вы допускаете переодевание и хотите объяснить его желанием показать пример, именно так, как оно не может объясниться без крайней натяжки. Коль скоро Вы отвергнете факт переодевания — иное дело. У Вас тогда пойдет речь уже не о храбрости или трусости Димитрия, а о верности или неверности источников. Пока Вы допускаете факты, Вы не должны отвергать достоверность источника, передающего эти факты... Какого же это хвороста собрал я и набросил на Димитрия, позвольте спросить, многоуважаемый Михаил Петрович?

Но если вы станете отвергать переодевание, то придется отвергать и дело засады, и подвиги Владимира Андреевича и Димитрия Боброка. В первой редакции этого нет вовсе. Там рассказывается, что москвичи побежали, а татары бросились за ними в погоню, но в 9-м часу дня явились ангелы с архистратигом Михаилом и полки мучеников, между которыми были Георгий, Димитрий и братья Борис и Глеб. Они метали на врагов пламенные стрелы, и это-то необыкновенное явление поразило врагов и дало русским победу и торжество. О засаде ни слова; о ней говорится в том сказании, которое должно бы, по нашему, считаться хворостом. Вы скажете: можно из одного и того же сказания — одно отвергать, другое — принимать? Конечно, можно, и даже должно, но так, чтобы для этого было обоснование. Какое же основание будет принять факт засады и отвергать переодевание и лежание под деревом кроме того, что это компрометирует храбрость Димитрия? Со своей стороны, я признаю сказание это (по третьей редакции) вообще достоверным; если в некоторых частностях и встречаются анахронизмы, то в главных чертах оно носит отпечаток древности; тогда только, когда Куликовская битва была событием свежим, могли войти в ее описание подробности и незначительные собственные имена участвовавших в деле. Сказание это, помещенное в Никоновской летописи, имеет преимущество пред тою повестью, которая помещена в IV томе «Полного Собрания Летописей». В ней исторические факты, тогда как в повести больше риторики, чем дела. Правда, списки повести находятся немного древнее списков сказания, но что же из этого? Есть у нас сочинения XII века в списках XVII века и, однако, не подвергалась сомнению их подлинность по одному этому. По сказанию же, Димитрий — воля Ваша — не представляется храбрецом! Что касается вообще до громких похвал храбрости, расточаемых летописцами и повествователями князьям русским, и в том числе Димитрию, то ведь я их считаю типическими местами! У нас чуть не каждый князь и храбр, и боголюбив, и нищелюбив, и правосуден, и всевозможнейшими добродетелями приукрашен. На эти аттестации смотреть нечего.

Вы говорите: «спросите военных людей: чье положение лучше: Кутузова, Наполеона, Пелисье или передовых солдат и охотников? А что Димитрий остался цел, а Бренок убит — это принадлежит к числу военных случайностей, очень обыкновенных»... Я Вам отвечу, что нынешний способ войны не похож на старинный, когда, как Вам показывает столько примеров, предводители-князя считали обязанностью лично выезжать вперед и драться с неприятелем. Опять повторяю Вам, что в Куликовской битве убито много князей: из этого видно, что их положение было там небезопасно. А что бы сказали, если бы Пелисье, сняв с себя генеральский мундир, надел его на своего адъютанта, а сам оделся в платье простого солдата и очутился на поле битвы в лесу,

под ветвями срубленной березы, а его сторонники оправдывали бы его тем, что на него напали неприятели; следовательно, он поступил так потому, что хотелось ему подраться. Не знаю, что бы сказали бы Вы, а я сказал бы вот что: Пелисье хотел просто улигнуть от боя, но не успел добраться до лесу, на него напали неприятели, и это последнее обстоятельство принадлежит к числу военных случайностей. Так я думаю и о Димитрии; и его переодевание делается очень понятно тогда, когда вспомним, что, по военным понятиям времени, он, как великий князь, должен был показать добровольный пример отваги и делать то, что заставляет его делать сказание первой редакции — драться с врагами на первом *суйме*, не слушать заботливых предостережений и подвергать свою жизнь явной опасности, одним словом, поступать он мог в качестве *сумасшедшего*.

Вы указываете на то, что Димитрий решился идти против татар и пристал к совету храбрейших, которые советовали переходить через Дон. Из этого, по Вашему мнению, следует, что он должен быть храбр и отважен в бою. На это я вам скажу: иное дело решиться на опасность, иное дело встретиться с нею близко. Часто больной с твердостью духа решается на ампутацию и падает в обморок, когда прикоснется к нему хирургический нож. Часто, очень часто мы сами на что-нибудь бодро и смело решаемся, а потом пугаемся. Притом же Димитрий был в таком положении, когда выбор был ему невозможен. Мамай шел на русскую землю, как говорится, с коротким — русские летописи велят ему в уста такие слова: пойдем на русского князя и на всю силу русскую, якоже при Батыи было, крестьянство потеряем и церкви Божии попалим, и кровь их прольем, и закон их погубим. По сказанию летописцев, этот поход предпринят был в отмщение за кровь татар, избитых на реке Ваке. Узнавши, что вся земля русская дружно встает против него, Мамай послал к Димитрию требовать выхода в таком размере, в каком давался он при Узбеке и Джанибеке; Димитрий (как всегда водилось в Московщине) старался выторговать выгоднейшие условия и предлагал выход в том виде, в каком положено было платить по прежнему договору с Мамаем. Послы, по воле Мамаю, не согласились и ушли. Димитрий подумал, посоветовался и послал к Мамаю Захарию Тульчина и двух толмачей, а с ним *злата и серебра много*. Мамай не принял. Почему он не принял? Потому, говорит сказание, что надеялся на Ягейла и Олега Рязанского. Что же посылал ему великий князь московский? На какую дань соглашался он? По смыслу выходит, что на ту, какой требовал Мамай. Иначе как Димитрию посылать Мамаю то, чего Мамай не принял уже раз через своих послов? Что же оставалось тогда делать Димитрию? Ведь он соглашался покориться, да покорности его не принимали. Конечно, драться. Тут у него не было решимости: тут была неизбежность, крайняя необходимость. И потому-то нельзя приписывать его храбрости то, что он пошел на войну против Мамаю. Он не мог не идти, когда при том вся русская земля шла. А дошло дело до битвы, он потерялся.

Касаюсь вопроса о нашествии Тохтамыша, Вы впадаете в противоречие себе самому. Вы говорите, что слово *побежа* в старинном языке имеет значение удалиться, а не обратиться в бегство, но через несколько строк упрекаете меня за то, что я взял это место из Новгородской летописи, будто бы враждебной Димитрию. Таким образом, последним Вашим замечанием Вы уничтожаете силу первого толкования. В обоих случаях Вы неправы. Слово «бежать» на древнем языке значит то же, что и на нынешнем. Оно значит: удалиться скоро, поспешно, а скорее удаление, в виду грозящей опасности, называется бегством. В двух примерах, приводимых вами, значения бегства первый пример так ясен, что не требует объяснений. Побежа на неведому землю, значит то же, что в просторечии: забежал черт знает куда. Второй пример требует некоторого пояснения. Князь рыльский Олег говорит липец-

кому князю Святославу: ты, как рать была, со мною за царю не бежал. На что же это он намекает? А вот на что: «Царь Ногай разгневался и посла рать на Олга и повеле его изловить и княжение к себе взять. И приидоша Татарове ратью к городу Ворлогу генваря 13-го, а князь Олег бежа к своему царю Телебузе, а князь Святослав бежа в лесы воронежские, половина же рати татарские погнася за князми, а другая половина заяша пути вси и так поимаша все княжение Олгова и Святослава». (Воскрес. П. С. Л. VII. 177). Не ясно ли здесь значение бегства, когда дело идет об удалении из своего княжения во время нашествия татар, да еще когда татары гнались за бегущим? Что касается до враждебности Новгородской летописи к Димитрию то, сделайте милость, покажите мне ее. Разве в том ее враждебность, что она вообще скуперее других летописей на риторике, не рассыпается в похвалах Димитрию?

Насчет распушения Димитрием силы пред нашествием Тохтамыша Вы говорите: «Если нужно, положим, десять тысяч, а у Димитрия была в распоряжении одна, то что ему делать с нею более, как не распустить». Може быть, благоразумно, да не храбро. Так храбрецы не рассуждали. Следовательно, и Леониду при Фермопилах нужно было распустить своих триста молодцев? Хорошо, что Румянцев не воспользовался таким благоразумным советом при Кагуле! Далее: на мое замечание, что в Москве защищался князь Остей со множеством народа, Вы не нашлись, что отвечать, а отговариваетесь, будто отвечать мне не позволит Вам уважение к читателям. Желая придать моим словам не то значение, какое они имеют, Вы восклицаете: Димитрий не мог идти против Тохтамыша со множеством народа московского!

Не идти ему приходилось, а защищаться в Москве. При осаде и женщины, и дети годятся. Вы могли бы еще оправдать Димитрия, когда бы он ушел в Кострому с тем, чтоб там собрать войско. Но этого не было. Он не только не собирал войска, но распустил и то, какое у него было. Народ московский пришел в неистовство; москвичи задержали жену великого князя и едва выпустили по просьбе митрополита, наделавши ей оскорблений. Многие, подобно Димитрию, стали искать спасения в бегстве; но их убивали и грабили, оправдывая, вероятно, такие поступки, тем, что люди нужны были для защиты, и коли умирать, так всем надобно умирать вместе. Кто же было виною этих побегов и беспорядков? Димитрий. Понятно, что такой храбрый князь мог очутиться во время битвы под ветвями срубленной березы.

Замечу Вам о Ваших Котлах. Вы знаете Котлы на Серпуховской дороге, а ведь Димитрий шел на Коломну.

Теперь приступаю к другой половине Вашего ответа — учено-полицейской.

Вы не верите мне, что я люблю Вашу Москву, и думаете, что мне не нравится то, что она стала основательницей государства. Вы подозреваете, что я желал бы на ее месте видеть X, Y или Z... Быть может, и не бесполезно задавать себе, ради гимнастики ума, вопросы: что было бы, если б столицею, вместо Москвы, был Серпухов или Коломна? Но я в настоящее время не расположен к таким упражнениям, да здесь и не место. Не знаю, чем заслужил я от Вас такое недоверие. Коли я говорю Вам, что люблю Вашу Москву, так стало быть люблю.

Вы написали: потому что Вы говорите даже мне: я люблю Вашу Москву, и не называете ее своею, нашею.

Я выразился так, разумея город, где Вы живете, имеете оседлость, где протекла Ваша ученая и гражданская деятельность. В отношении меня и Вас — Москва Ваша, а не моя, потому что я там не живу, хотя и желал бы этого. Для всех русских (и в том числе для меня, как русского), разумеется, она наша, как и Калуга, Могилев, Ялта, Селенгинск. Кто же в этой аксиоме сомневался?

Вам не нравится что я назвал плохими стишонками стихи, напи-



санные Пушкиным. Что же делать, коли они таковы! Они плохи по верификации, еще плоше по мысли. Что это такое, низкие истины? Разве истина може быть низкою? Эпитет «низкий» пригоден только для лжи. Всякая истина благородна, высока, потоплику, поколику она истина, как бы ни был маловажен предмет, к которому она относится. И разве может возвышать нас обман? Скажи Пушкин вместо обман — *вымысел* — иное дело; но вымысел не обман. Поэтический вымысел не выдается за действительность, а, если признается за нее, то по неведению. Обман — умышленная ложь, выдаваемая за истину. Обман никогда не может нас возвышать; напротив, он всегда гнусен, вреден, гадок. Жаль, что эти стихи принадлежат перу великого Пушкина! Но что же делать! *Et bonus aliquando dormitat Homerus!* Вы говорите, что Пушкин «хватил бы смертоносною эпиграммою в висок иного оратора за подобные общие места о грошовом беспристрастии, алтынной честности и пятикопеечном благородстве, о котором насвистано нам столько в последнее время». Поставьте копейку бедняка в параллель состами тысячами богача — выйдет, что грошовое беспристрастие лучше двухсоттысячного корыстолюбия, алтынная честность — трехсоттысячного продажничества и пятикопеечное благородство — миллионной подлости. Эх, Михайло Петрович, хоть бы на гроши, да на алтыны и были такие добрые качества в людях — и за то благодарить Бога надобно! А вот скверно, когда их в сущности-то и нет, а кажется, как будто их Бог знает на какие суммы лежит нетронутым капиталом! Вы советуете молодым людям читать и перечитывать Карамзина. Охотно присоединяю свой совет к Вашему. Но в приведенных Вами словах Карамзина я вижу скорее оправдание для себя, чем обвинение. Он говорит: «Грубое пристрастие, следствие ума слабого или души слабой, несносно в историке». Я высоко ценю эти строки нашего историографа. Не считаю, чтобы и последующие слова его были противны моему взгляду. Он говорит: «Любовь к отечеству дает кисти историка жар, силу, прелесть. Где нет любви, нет и души». Но разве любовь к отечеству должна выражаться только в том, чтобы хвалить его да петь ему панегирики, да сентиментальничать с патриотизмом? Вы же сами говорите: «Скрывать или оправдывать нехорошее я не стану, но и осуждать хорошее, без строгой критики, считаю ученым преступлением». Хорошо, зачем же Вы сердитесь? Зачем вместо того, чтоб спорить со мною единственно для разъяснения истины, Вы сейчас заподозреваете меня, ищите каких-то прикровенных мыслей... Зачем же требуете Вы более осторожности для одних лиц, чем для других? Зачем советуете мне писать только о Ягейле или о Мамае, о Выговском да о Мазепе и заставляете писать о Дмитрии Донском, Александре Невском, Минине, Сусанине? Если Вы не считаете меня достойным писать о лицах последнего ряда, то зачем же Вам все равно, когда я буду писать неверно о других? Любите Вы историческую истину — любите ее равно, о ком бы она не произносилась. «Где нет любви, там нет души!» — совершенная правда. Но пусть же любовь историка будет разумною любовью. Историк есть вместе и гражданин своего отечества; его труды могут принести только тогда гражданскую пользу, когда они будут иметь целью не потачку национальной гордости и предубеждениям, а строгую неумолимую истину, как бы она ни казалась горькою для патристических чувствований, которые нередко соединяются с застарелыми предубеждениями национального чванства. *Covallo veechio tardi muta andatura*, — говорит пословица на языке, на котором Вы окончили Ваш ответ пословицею.

Февраля 19-го

### Несколько слов о памятнике Хмельницкому \*

Богдан Хмельницкий, один из самых крупных деятелей многовековой борьбы русского народа с Польшею, дождался, наконец, того, что Россия вспомнила его заслуги, его значение в своей истории и воздвигает ему памятник. Труд этот взял на себя г. Микешин, приобретший известность составлением исторических памятников. Модель его знакома всем, читавшим газету «Голос».

Вероятно, многим из русских, искренно чтущих память Хмельницкого, было бы неприятно увидеть такой памятник, потому что он грешит против изящного вкуса, художественного смысла и исторической правды. Под ногами коня, на которого посадил художник Богдана, лежит убитый или раздавленный ксендз с четками, ниже — изрубленный поляк и мертвый иудей с затянутою на шее верёвкою. Неужели это изящно? Неужели образованному вкусу могут нравиться фигуры раздавленных и задавленных? Что неизбежно в историческом описании, что позволительно в картине, то вовсе неуместно и даже неприлично на площади, на улице в виде статуйных изображений. Известно, что когда вешают преступника, то закрывают ему лицо, чтоб на зрителей не производила страшного и омерзительного впечатления такого рода смерть. На памятнике Хмельницкого задушенный иудей с открытым лицом; для верности природе художник должен воспроизвести на нем все признаки смерти, которые нарочно скрывают от человеческих глаз при совершении казни через повешение. Но что хотел выразить этим художник? То ли, что в эпоху Хмельницкого умерщвляли ксендзов и иудеев?

Но ведь памятник какому бы то ни было историческому лицу должен выражать его всемирно-историческое значение (буде такового не окажется налицо, то и памятника не следует ставить), а не временные подробности, хотя и сопровождавшие деятельность этого лица, но не составлявшие тех ее отличительных свойств, которые самому действовавшему лицу дали историческое величие. Фигуры раздавленного ксендза и задушенного иудея не представляют ничего такого, что бы исключительно принадлежало Богдану Хмельницкому и даже его эпохе. Везде и всегда, когда народная громада поднималась против угнетателей, совершались над последними убийства, и в Южной Руси не при одном Хмельницком умерщвляли ксендзов, шляхту и иудеев. То же делалось и прежде его при Косинском, Наливайке, Павлюке, Острияне, и после Богдана через сто лет то же делали Гонта, Зализняк, Шило и проч. Художник в памятнике Хмельницкому должен был выразить то, что именно отличало Хмельницкого, и что дало ему в истории место несравненно выше других деятелей на том же самом историческом поле, а не то, что происходило и не могло не происходить независимо от него по условиям века, края и сложившихся обстоятельств, и чего он сам, если бы хотел предотвратить, то не мог.

Не внушает ли это предположение, что художник не в силах был подняться выше осознательных частных явлений до понимания исторического значения личности, которой он созидает памятник? Или, быть может, художник думал этим сказать: вот смотри, русский народ, от каких врагов избавил тебя этот великий человек? Но эта цель достигается уже самим памятником Хмельницкому; всякий вспомнит об этом, как только взглянут на его фигуру, а подробности борьбы его с Польшею за русскую веру и русский народ узнает из истории. Тот же, кто не слышал никогда ни о Хмельницком, ни о его войнах, того без другого рода объяснений сами фигуры раздавленных и задавленных не научат. Притом же, такие фигуры не согласуются с характером Богдана Хмельницкого. Хмель-

\* Новое время, 1869, № 194; підп.: Н. К.

ницький вовсе не был один из той громады, которая, потеряв терпение и завидев удобный случай отомстить своим тиранам, бросается на них с неудержимою яростию переполненной злобы, повинуюсь голосу страсти. Хмельницкий не был также один из рубак своего века, которым необходима была война, как рыбе глубина водная, как птице широта воздушная. Хмельницкий был человек политический, муж идеи (если б он не был таким, то не стоил бы и памятника). Осуществление этой идеи было целью его деятельности. Война для него была только средством, правда неизбежным, но всегда таким, которого он готов был избежать, если б только цель, к которой он стремился, была достигнута иными путями. Ужасы войны и народного восстания не тешили его; напротив, он старался, елико возможно, ослаблять их. Так он наказывал и даже казнил смертью тех предводителей загонов, которые отличались бесчеловечием и зверством в мести врагам русского народа. Об этом сохранились свидетельства поляков, и в том числе заклатьшего врага казаков Иеремии Вишневецкого. Во время войн с поляками Хмельницкий нарочно избегал покорения городов, чтоб не подвергать жителей кровопролитию и разорениям. Так было, между прочим, два раза со Львовым: в 1648 и в 1655 гг., а в последний раз он по поводу этого имел даже неудовольствие с предводителем московских войск, действовавших тогда вместе с казаками против поляков. Гетман объяснил ему, что он не может решиться предать бедствиям штурма столько людей и, притом, христианской веры. То же было под городом Гусятином на Подолии, где Хмельницкий ни за что не хотел брать города штурмом, чтоб не губить мирных жителей. По разгроме польских гетманов под Корсуном (в мае 1648) и по разгоне новонабранного польского войска под Пилявцами (сентябрь 1648) Хмельницкий мог бы опустошить всю Польшу и самую Варшаву обратить в груды развалин, но не сделал этого, а ожидал под Замостьем выбора нового короля, надеясь, что новоизбранный король мирным путем удовлетворит требованиям русского народа. Сами поляки говорили тогда про него: «Это Бог послал на него слепоту».

Ошибшись в расчете на короля, Богдан опять должен был взяться за оружие под Зборовом, опять показал умеренность и великодушие: имея почти в своих руках польского короля с сенаторами, полководцами и панами Речи Посполитой и будучи в состоянии отправить их в крымскую неволю, как он уже отправил год тому назад польских гетманов, Хмельницкий не сделал этого, а воспользовался своим успехом только для того, чтобы вынудить у поляков признание того, что они по отношению к Руси должны были признавать на основании древних прав. Такие черты благодушия, казалось, должны были внушить г. Микешину мысль о том, что фигуры раздавленных и задушенных у ног Хмельницкого не выражают характера той исторической личности и что за нею есть что-то другое, составляющее его славу и величие. Вдумайтесь, г. Микешин, хоть напр. в эти слова гетьмана, которому Вы ставите памятник: «Я выбью весь русский народ из неволи ляцкой; пусть король будет королем, но пусть он будет свободен, пусть наказывает ваших дуков, князей, шляхту, пусть шляхта не лягает короля. Хочу, чтобы так было: князь ли согрешит, отруби ему голову, казак ли согрешит, и ему то же самое: вот будет правда!» Эти слова, говоренные им польским комиссарам, важнее для уразумения личности Хмельницкого, чем отвратительные фигуры раздавленных и задушенных, которыми г. Микешин хочет украсить изображение Хмельницкого и город Киев.